



В. В. ЧУЙКО

Общественные идеалы Фридриха Ницше

В последнее время, европейская журналистика и критика начинают обращать самое серьезное внимание на одного немецкого мыслителя, начавшего свою литературную деятельность лет двадцать тому назад, но до самого последнего времени оставшегося, однако, никому неизвестным и прошедшего совершенно незамеченным, — до такой степени незамеченным, что его имя не встречается ни в одном из энциклопедических словарей последних изданий¹. Я говорю о докторе Фридрихе Ницше, бывшем профессоре Базельского университета, ныне страдающем неизлечимую душевную болезнь². Доктор Ницше, в своих довольно многочисленных произведениях, написанных в большинстве случаев в форме афоризмов, является настоящим моралистом, в старом хорошем смысле этого слова, моралистом в роде Леопарди, Шопенгауэра, Эвремона, Паскаля, Ларошфуко, Лабрюйера, пожалуй, Марка Аврелия, и примыкает к группе таких современных писателей, к каким можно причислить недавно умершего Амиеля³. Обладая несомненно первоклассным литературным талантом, поразительной красотой литературной формы, столь трудно дающейся немецким писателям, большой ясностью мысли, истинным пронизательным и пронизывающим красноречием, значительной оригинальностью воззрений, к тому же затрагивая в своих произведениях самые живые вопросы современной общественной и личной нравственности, — Ницше имел все данные для того, чтобы сразу выдвинуться вперед и стать в первых рядах той, если можно так выразиться, публицистической философии, которая в настоящее время является наиболее модной формой умственных интересов современного европейского большинства. И однако, несмотря на все это, Ницше остался никем не замеченным, никем не читаемым, и только тогда, когда душевная болезнь

прекратила его литературную деятельность, — его имя всплыло на поверхность европейской журналистики, а его книги нашли читателей.

Как объяснить такой странный факт? Невозможно, конечно, сослаться на «явление, пропущенное критикой», в нашем русском значении этого выражения. У нас нередко случается, что текущая критика и журналистика, ради целей журнальной тактики, намеренно пропускают без внимания или просто «замалчивают» того или иного писателя, как это было, например, с Аполлоном Григорьевым⁴, а еще раньше — с гр. Л. Н. Толстым. Но в европейской печати, не раздробленной на мелкие кружки, живущие своими личными интересами и, по существу, эгоистические, ничего подобного почти никогда не бывает. Там не бывает «явлений, пропущенных критикой», если только эти явления заслуживают какого-либо внимания. В Западной Европе всякий истинный талант, всякая действительная умственная или нравственная сила находит себе признание, как в лагере друзей, так и в лагере врагов. Почему же для Ницше судьба в этом отношении оказалась мачехой? Почему он один, из многочисленного сонма современных писателей, остался в течение более чем двадцати лет гласом вопиющего в пустыне? На этот вопрос не трудно, я думаю, ответить, если обратить внимание на философские и этические потребности, которыми живет современная Европа.

Известно, что время широких, всеобъемлющих философских систем давным-давно прошло, и, как кажется, прошло безвозвратно. Оно кануло в вечность в 1831 году, в момент смерти Гегеля⁵. Даже бьющая на эффект философия бессознательного, Гартмана⁶, была встречена скорее с любопытством, чем с действительным интересом. Со смерти Гегеля и вплоть до нашего времени, сначала в Германии, а потом и в остальной Европе, почти безгранично господствовал Шопенгауэр. Эта популярность франкфуртского отшельника объясняется причинами, лежащими в самом европейском обществе. Начало девятнадцатого столетия было, если можно так выразиться, пятым актом грандиозной трагедии, в которой культурное человечество увидело, как рухнули все его надежды, идеалы и чаяния. Отчаяние и разочарование овладело умами, и философия пессимизма, теоретически подтверждающая это отчаяние и разочарование, нашла себе отголосок в изверившихся сердцах. К тому же обязательная литературная форма, в которую облакал свои идеи Шопенгауэр, остроумие, едкость замечаний, наблюдательный и пронизательный ум его привлекали читателей, которым на-

доел варварский и многим совершенно непонятный язык Гегеля. Благодаря Шопенгауэру, европейская публика вошла во вкус философии; в его сочинениях философия сливалась, так сказать, с ежедневной жизнью; самые абстрактные идеи и выводы становились ясными и понятными; все потребности сердца и ума, казалось, вполне удовлетворялись заключениями мыслителя, который объявлял самое существование великим несчастьем и находил единственное успокоение для человечества — в сострадании и отречении от всяких чувственных наслаждений.

Но с течением времени влияние Шопенгауэра ослабело; разочарование и безнадежность — состояния переходные, ими жить долго нельзя. После отлива наступает обыкновенно прилив; после отчаяния является надежда, вера в жизнь и в энергию. Европейское общество вскоре заметило, что пессимизм не есть лекарство от нравственного недуга, и оно естественно стало искать другого путеводителя, которого проповедь более соответствовала бы истинным потребностям настоящей минуты. Таким путеводителем явился Фридрих Ницше, бывший поклонник Шопенгауэра, некогда увлекавшийся, как и все европейское общество, франкфуртским отшельником, но потом, подобно тому же обществу, отрекшийся от своего учителя. Шопенгауэр проповедывал отречение от благ земных, успокоение в небытии, созерцание человеческого ничтожества и мораль сострадания, самоотречения. Ницше открыл перед европейским обществом другой идеал, значительно более низменный, но лучше гармонирующий с новыми инстинктами и потребностями. Культ силы, беспощадное осуждение возвышенных слабостей, вознесенных человечеством на степень величайших добродетелей, поклонение перед правом сильнейшего, оправдание низших инстинктов, всякого насилия, всякого эгоизма — такова оказалась мораль Ницше, нашедшая доступ к европейскому обществу. Философия Шопенгауэра в двух конечных этических выводах оправдывала нравственные основы, на которых покоится современное общество; философия Ницше, напротив того, объявляет эти основы никуда негодными и видит единственное спасение человечества в возврате к разнузданному произволу и культу силы. Одним словом, Ницше является безусловным врагом современного европейского общества, но по странной случайности — единственной, кажется, в своем роде — его никоим образом нельзя причислить ни к утопистам, видящим золотой век в будущем, ни к реакционерам, видящим его в прошедшем. Первые строят будущее общество на основах

социальных; некоторые, напротив того, не только не желают никакого нового общества, но искренно сожалеют о «старом режиме», о том добром старом времени, когда общество представляло собой строгую иерархию каст, с неравными правами и обязанностями. Как те, так и другие, одинаково недовольны современным демократическим строем общества с его принципом *laissez-aller*⁷, но с совершенно различных и даже противоположных точек зрения. Ницше, в своем недовольстве современной действительностью, примыкает как к тем, так и к другим. И он, так же как утописты и реакционеры, ненавидит современное общество, но, разделяя с ним эту ненависть, он и к ним питает нескрываемое презрение. Его невозможно заподозрить в любви к «старому режиму», к средним векам. Он рад, — душевно рад, — что время старого режима безвозвратно прошло, но недоволен тем, что современное общество заменило старые суеверия новыми. Он с ненавистью говорит о Жан-Жаке Руссо, «первом современном человеке, одновременно и идеалисте, и мерзавце»⁸. Первая французская революция, — прибавляет он, — была делом Руссо; немудрено поэтому, что она основала в Европе царство идеализма и всяческой мерзости. Свобода, которою она наделила Европу, есть отрицание истинной свободы, ибо свободным, — истинно свободным, — человек чувствует себя лишь в естественном, т. е. диком, природном состоянии, а Европа никогда еще не была так далека от этого состояния, как в наше время. Современный демократизм подавил в европейском человеке его прирожденные инстинкты, которые, по мнению Ницше, являются единственно истинными нашими руководителями на пути к свету и истине, «а лживые догмы, провозглашенные им громовым голосом, также противоположны естественному закону, как противоположны ему и христианские догмы». Исходя из этих общих положений, Ницше является в полном значении слова отрицателем, или, как сказал бы Тургенев, — нигилистом. Он отрицает современные нравственные идеалы, он убежден в бессодержательности и безжизненности современной науки, в жалком характере современной деловой и промышленной цивилизации, в упадке всей нынешней европейской культуры; он презрительно относится к общественным и политическим вопросам, зло подсмеивается и над либерализмом, и над демократическими идеалами, и над социализмом. Нет, одним словом, ни одной стороны общественной и культурной жизни, где бы Ницше не стоял в резком противоречии с господствующими идеалами и партиями, всюду возбуждая инстинктивное противодействие

тем внутренним вызовом, который постоянно слышится во всей работе его мысли и во всех его воззрениях. Читая странные и по временам очень сильные, пропитанные ядом и иронией филиппики Ницше против европейской культуры и цивилизации, невольно вспоминаешь наших славянофилов⁹ и невольно сравниваешь их с немецким философом. Как наивны и детски кажутся при этом сравнении взгляды славянофилов, если сопоставить их со взглядами Ницше! Славянофилы, обвиняя европейскую культуру во всевозможных преступлениях, тем не менее находили успокоение для своей тревожной мысли в убеждении, что русский народ — избранный народ божий, что он несет с собою истинную правду, истинное смирение, что это — народ-альтруист по преимуществу. Они, так сказать, сортировали людей на русских и нерусских, причем русские оказывались наделенными всеми добродетелями, а нерусские — всеми пороками. Это было, конечно, наивно. Не таков Ницше; его скептицизм пошел гораздо дальше: он изверился в самой сущности европейской цивилизации. Даже к различного рода современным «измам» он относится с презрением и горькой насмешкой. И тут опять-таки нельзя не видеть любопытного явления. Обыкновенно отрицатель в области философии, теоретический скептик, вместе с тем становится ярким и страстным сторонником крайних демократических идей, социализма, рабочего движения и проч. Таким был, например, Людвиг Фейербах с его антропологической теорией религии, почерпнутой на задворках гегелевской философии: отрицатель в этом отношении, он был проповедником положительного, хотя и химерического идеала общественности. Он «верил» не только в возможность, но и в необходимость регенерации общества на основах абсолютной справедливости и равенства. Ницше всегда и везде отрицатель. Казалось бы, что такое голое и беспощадное отрицание самых основ, на которых зиждется современное общество, должно было бы внушить к нему если не отвращение, то по крайней мере, недоверие. А между тем, в действительности мы видим совершенно противоположное. Все европейское общество заинтересовано идеями Ницше, а молодое поколение, не только в Германии, но и во Франции и Англии положительно увлекается ими и берет себе Ницше в руководители и вожди! Не доказывает ли это странный факт того, что и в самом европейском обществе чувствуется инстинктивное недовольство, как бы глухой протест против современной действительности, желание выйти из того заколдованного круга, в котором болтается современный человек? Не является ли Ниц-

ше только выразителем, более или менее полным и ярким, этого еще пока мало сознанного недовольства?

Несомненно только одно: Ницше является писателем необыкновенно содержательным; это один из самых оригинальных мыслителей Германии за последние двадцать или тридцать лет; это живой, блестящий ум, сжатый, ясный, пронизательный. Правда, его книги, которым он дает странные заглавия: «По ту сторону добра и зла» (*Jenseits von Gut und Böse*), «Сумерки ложных богов» (*Götzendämmerung*), «Генеалогия нравственности» (*Zur Genealogie der Moral*), «Так говорил Заратустра» (*Also sprach Zarathustra*), — по временам слишком похожи друг на друга и не столько представляются книгами, сколько сборниками афоризмов. Афоризм — форма, которую он избрал, как сам говорит, чтоб доказать, что «он способен сказать в десяти фразах, что другой скажет или, вернее, не в состоянии сказать в целой книге». Эти сборники афоризмов переполнены глубокими мыслями, меткими, тонкими замечаниями, целыми страницами удивительнейшего красноречия. Редко книга даже великого писателя может доставить такое умственное удовольствие. Но, по несчастью, Ницше страдает одним недугом, от которого он не хотел излечиться. Он, если можно так выразиться, мученик и жертва беспорядочной любви к парадоксу. К тому же он не церемонится с противниками и третирует их более чем бесцеремонно; он их называет «лицемерами», «евнухами», «вонючими клопами»; он не скажет, по примеру Лейбница¹⁰: «Я почти ничего не презираю». Ницше, напротив того, относится с величайшим презрением «к глупым суждениям толпы» и охотно заявляет, что «если природа дала ему ноги, то, конечно, не для того, чтоб уступать место людям, которые ему не нравятся, а для того чтобы топтать их». Будучи сам философом, он тем не менее презирает философов и считает их «людьми, которые во все времена присваивали себе идеи моралистов, этих истинных сердцеведов, обобщая и заключая в законе необходимости и устойчивости то, что другие нам представляли просто в виде скромных замечаний». По его мнению, истинный философ никогда не скажет: «Так есть в действительности», он говорит: «Так должно быть». Ницше поклоняется культу формы и чувствует нескрываемое отвращение к реальностям, которые не соответствуют его желаниям или его теориям. Он с высокомерным сожалением говорит об «объективных умах», которые полагают, что знают вещи такими, каковы они в действительности. Он хвастает тем, что он — самый субъективный из людей. Он как бы страдает гипертрофией сво-

его «я». В нем как бы скрыта совесть, изрекающая непогрешимые истины. Благодаря этой уверенности в собственной непогрешимости, он в своих мечтаниях переделывает мир по своему, — ибо тот мир, который находится перед его глазами, по его мнению, никуда не годится. Он написал целую книгу или, вернее, поэму в четырех частях, озаглавленную: «Так говорил Заратустра» (Also sprach Zarathustra), — и этот божественный Заратустра — сам Ницше; этот Заратустра живет в пещере, в обществе орла и змеи; тут он судит живых и мертвых, навязывая человечеству новые законы, причем к мудрым мыслям примешивает множество эксцентричностей. «Человечество, — говорит он, между прочим, — обязано мне самой великой книгой, когда-либо бывшей», и утверждает, что говорить об этой книге можно только тогда, когда, читая ее, чувствуешь страдания сердца и порывы восторга («Götzendämmerung», S. 125, — «Zur Genealogie der Moral», S. XIII).

В последних сочинениях Ницше чувствуется некоторая наклонность к мистицизму; этим оттенком отчасти отличается и его «Заратустра», но, в общем, Ницше скорее позитивист. Из этого, однако, не следует, чтоб Ницше придерживался какой-либо определенной философской системы; он и сам объявляет с своей обычной бесцеремонностью, что «всякая система есть своего рода надувательство». Он ограничивается тем, что стремится показать действительную, существенную ценность наших нравственных благ. Такой анализ он называет «приготовлением к философии будущего». Для этого анализа Ницше употребляет отрывочные афоризмы, диалоги, притчи в отдельных небольших параграфах. Владея в самой высокой степени чувством оттенков мысли, он избегает точных определений, ясных выражений, но так как в то же время он любит точность, то выбирает форму афоризма, которая позволяет ему возвращаться к раз намеченной идеи, пополнять ее новыми разъяснениями, освещать ее с новых сторон.

По мере чтения этих афоризмов Ницше, прежде всего поражает идея, которую он имеет о назначении человека. По его мнению, «жить — значит желать господствовать». Подобно тому, как в природе жить значит бороться, для человека жить значит господствовать над другими, властвовать, обнаруживать свою мощь. И Шопенгауэр тоже говорил, что жизнь есть вечное, постоянное усилие; но Шопенгауэра эта идея привела к глубокому состраданию по отношению к человечеству, которого принуждает к этому усилию стихийная сила (Воля). Напротив того, для Ницше усилие и господство, которое является

следствием усилия, — само наслаждение. Жизнь есть наслаждение или была бы наслаждением, если бы люди сами не портили своей жизни. И с мрачным красноречием Ницше вызывает в своем воображении образ человеческого первобытного зверя, существа более стихийного, чем все те существа, с которыми мы связываем в нашем уме историю человечества. Под его пером внезапно является необыкновенное богатство выражений, когда он принимается говорить о первобытных исчезнувших расах, о их гордой невменяемости, которую он называет невинностью дикого зверя, о их смелости, о их наслаждении перед сладострастием уничтожения, торжества, жестокости. Тираны итальянского возрождения пользуются всеми его симпатиями; они ему кажутся как бы ослабленным отражением этих первобытных рас, составлявших, по его мнению, гордость человечества и природы. Ницше прямо высказал без всяких оговорок, что такие сильные, властные и, если можно выразиться, тропические натуры, как Цезарь, Алкивиад, или даже Цезарь Борджиа и подобные ему люди возрождения, он считает более высокими и ценными образцами человеческого типа, чем, например, средний человек современного общества. Такое предпочтение, отданное Цезарю Борджиа, вызвало против Ницше целую бурю негодования. Отвечая на эти нападки, он, между прочим, спрашивает: действительно ли мы стали нравственнее с нашею, т. е. теперешнею нравственностью? «Мы, современные люди, — говорит он, — весьма нежные, весьма чувствительные к страданиям и привыкшие на сотни ладов принимать и оказывать внимание и уважение, в самом деле воображаем, будто такая изнеженная человечность, которую мы представляем собой, такое единодушие в бережности, в готовности к помощи, во взаимном доверии — есть положительный прогресс, с которым мы далеко превзошли людей возрождения. Но ведь так думает каждое время, так должно оно думать. Достоверно одно, что мы не в состоянии были бы перенести себя в обстановку Возрождения, даже в мыслях не могли бы перенестись в нее: наши нервы, не говоря уже о наших мускулах, просто не выдержали бы той действительности. Но эта неспособность вовсе не доказывает какого-нибудь прогресса, а только иной, более поздний склад натуры, более слабый, более изнеженный, более чувствительный — из которого необходимо рождается мораль, избобилующая соображениями о других. Если мы отвлечемся от нашей нежности и запоздалости, нашего физиологического старения, то и наша мораль “очеловечения” тотчас же потеряет свою цену (сама по себе никакая мо-

раль не имеет цены): она даже будет внушать нам пренебрежение. С другой стороны, не подлежит сомнению, что мы, современные люди, закутанные в нашу гуманность, точно в толстый слой ваты, чтоб не ударяться ни о какие камни, доставили бы современникам Цезаря Борджиа такое комическое зрелище, от которого бы они умерли со смеху. Ослабление враждебных и внушающих недоверие инстинктов, — а в этом и состоит наш “прогресс”, — представляет собой лишь одно из следствий общего понижения жизненности. Вести столь обусловленное, столь позднее существование, как наше, стоит во сто раз более труда, более предосторожностей: и вот люди помогают друг другу, и каждый до известной степени, — и больной, и сиделка у больного. Это и называется тогда “добродетелью”; а у людей, которые знали жизнь еще иначе, полнее, кипучее, расточительнее, это называлось бы иначе — может быть, “трусостью”, “жалкою дряблостью”, “бабьей моралью”. Наша мягкость нравов есть следствие упадка; наоборот, суровость и жестокость нравов может быть следствием избытка жизни: тогда и можно на многое отважиться, многому бросить вызов, многое и расточить. То, что было когда-то приправой жизни, было бы для нас ядом. Быть равнодушными (это тоже одна из форм силы), — для этого мы тоже слишком стары, слишком поздны, и наша мораль сочувствия — есть только еще одно выражение нераздражительности, свойственной всему вырождающемуся. Сильные времена, высокие и величественные культуры видят в страдании, в “любви к ближним”, в отсутствии собственной личности и чувства этой личности — нечто презренное. Времена нужно измерять по их положительным силам, и тут время возрождения, столь расточительное, столь роковое и полное опасностей, оказывается последним великим временем, а мы, новейшие люди, с нашей боязливою заботливостью о самих себе и любовью к ближним, с наши мидобродетелями трудолюбия, непритязательности, любви к законности, научности, — мы, собирающие, копящие, экономные и машиноподобные, — мы оказываемся слабым временем, а наши добродетели обусловлены, вызваны нашею слабостью» («Götzendämmerung», S. 105—107, пер. г. Преображенского)¹¹.

Этим тиранам возрождения, этим героям Гомера¹², этим первичным типам, — составляющим как бы высшую поэзию человечества, — Ницше противопоставляет, как он говорит, озлобленных. Эта идея о людях озлобленных составляет одну из самых оригинальных идей немецкого моралиста, идей, приводящих к самым неожиданным выводам. Ницше строит нечто в

роде исторической схемы, которая наглядно показывает, как, по его мнению, возникла борьба между первичными типами и озлобленными и почему озлобленные победили. Само собою разумеется, что эти первичные типы, довольные полнотою своей вполне уравновешенной природы, возбудили, в конце концов, зависть и ненависть всех бессильных, беспомощных. Ницше преследует сарказмами и иронией этих озлобленных, ищущих по темным закоулкам возможность отомстить сильным, этих кривых душ, этих смиренных, которые подолгу могут молчать, выжидать, этих людей себе на уме, которые не знают добродетели забвения, — доказательства нравственного здоровья. Долгое время эти озлобленные мучились своим бессильем и своей посредственностью. Но в конце концов придумали, как затеять борьбу; они пустили в ход те «силы», которые развились в их нутре именно вследствие их бессилья, — хитрость, скрытность, обдуманность, и таким образом приготовили самую полную месть: представить в извращенном виде идею добра и зла, обесценить, если можно так выразиться, нравственные ценности, — вот каким образом озлобленные отомстили сильным. Разумеется, они выставили вперед учение, которое провозглашает царство слабых, несчастных, беспомощных, и громит сильных, богатых, прекрасных, честолюбивых, гордых. И вот основы, на которых в настоящую минуту построено общество.

Он ненавидит эти основы всеми силами своей души, и если б ему было предоставлено переделать мир по своему, то он бы, как сам заявляет, начал с того, что уничтожил бы все, что еще осталось от религиозного догматизма, затем демократические принципы, как наследие 1789 года¹³, политиков-идеалистов, фразеров и «клопов», не забывая, конечно, и всего того, что «оболванивает», по его мнению, современную Германию, — ее недавнюю конституцию, ее ложную науку, алкоголь, пиво и музыку Вагнера, которую прежде Ницше обожал; но, прежде всего и главным образом, он бы уничтожил современную мораль. Никогда еще, по его мнению, ни одно столетие так много не морализировало, как наше. В этой морали он видит первый и самый опасный симптом вырождения человечества. Он обвиняет мораль в том, что она ограничивает человеческую свободу и наши природные инстинкты. Теперь хвастают тем, — говорит он, — что созидают научную мораль, которая в сущности есть не более, как скрытый и замаскированный аскетизм, а аскетизм, думает Ницше, как бы он ни был ослаблен, есть покушение против природы.

Отсюда ясно, что для Ницше единственно истинная мораль — естественная, имеющая в основании инстинкт жизни. Всякая сила, — если Шопенгауэр сказал правду, — есть бессознательная воля, а всякая воля, по существу своему, стремится к сознанию. Роковым законом этой силы является стремление беспрестанно увеличиваться, расширяться, распространяться до тех пор, пока она не сделается одною из реальностей мира и не приобретет радостного сознания своего существования. Шопенгауэр лгал, когда утверждал, что так как жизнь есть зло, то мы должны стремиться к небытию. Напротив того, жизнь есть благо, — наше единственное благо, и поэтому мы должны стремиться, чтобы обладать ею во всей ее полноте, освобождаясь от всего, что может ее ограничить или ослабить, или задушить.

Истинная мораль говорит нам: «Живи по возможности полнее, стремись сделаться сильным, насколько позволяет тебе природа; не верь аскетизму, подчиняйся всякому инстинкту; мораль, противодействующая инстинкту, есть ложь». Отсюда ясно, что и самое понятие о добре и зле должно быть реформировано в виду этой новой, истинной морали. Нашим единственным безусловным законом нравственности есть инстинкт, а инстинкт животных не знает ни добра, ни зла, или, другими словами, единственное благо, признаваемое силой, есть стремление достичь полного своего развития и энергии, а так называемые наши пороки служат нам в этом отношении также хорошо, как и наши добродетели. Упраздните из этого мира все то, что называется теперь злом, упраздните преступные страсти, и вы тогда убедитесь, что ваши добродетели не спасут человечества.

«Современное общество хвастает своею благотворительностью, всем тем, что оно делает, чтобы смягчить тягость жизни. Конечно, нравы сделались мягче, но хвастать этим решительно нечего; это не более, как печальный симптом понижения характера, ослабления воли, и наша хваленая мягкость есть не более, как плохо скрытое бессилье, наш пресловутый прогресс — только постыдное декадентство. Мы точно потеряли инстинкт жизни, и если мы сравним себя с людьми возрождения, то принуждены будем сознаться, что они бесконечно превосходили нас жизненностью. Мы — не более как общество больных и сиделок; но мы считаем себя здоровыми, в то время как мы только потеряли инстинкты, необходимые для здоровья. Какой-нибудь Цезарь Борджиа теперь невозможен? Тем хуже для нас». «Смотреть на таких людей, как Цезарь Борджиа, как на зачумленных, или полагать, что они в самих себе

носили свой собственный ад, — значит не признавать, что в мире существуют хищные звери. В действительности, все эти Цезари Борджиа были самыми здоровыми монстрами, их можно сравнить с самыми роскошными тропическими растениями. Моралисты словно возненавидели первобытные леса и тропические страны, и употребляют все усилия, чтобы заставить ненавидеть тропического человека... Но кому это послужит в пользу? Умеренным странам? Человеку, лишенному страстей? Человеку нравственному? Нисколько; это послужит только на пользу всякой посредственности, всякому бессилью» (*Jenseits von Gut und Böse, Vorspiel einer Philosophie der Zukunft*, второе издание, Leipzig, 1891).

Но, — скажут, может быть, — если справедливость, как мы ее понимаем, есть пустое слово, если все дело в том, чтобы быть сильным, если к тому же сила не подчинена никакому высшему закону, — то какое возможно согласие между всеми этими разнuzданными силами, которые считают, что им все позволено? Ведь всякое общество возможно только потому, что оно ограничивает произвол, что оно налагает узду на страсти, и таким образом делает возможным существование своих членов. При теории Ницше общество не может существовать: люди принуждены обратиться в дикое состояние и опять поселиться в первобытных лесах. Это возражение известно Ницше, но, по его мнению, оно теряет всю свою силу, как только мы обратим внимание на то, что люди действительно сильные, которым все позволено, составляют всегда самое ничтожное меньшинство и что им приходится иметь дело с миллионами слабых, которых судьба — покоряться. По глубокому убеждению Ницше, природа создает народ с единственной целью: сделать возможным существование пяти или шести индивидуумов, являющихся истинными представителями человеческого рода. Это — тигры и львы, рожденные пожирать баранов. В наше время только и говорят, что об эксплуатации человека человеком, но разве сама жизнь не есть своего рода громадная эксплуатация? Как кажется, до сих пор не найдено средство жить, не питаясь. Разве мы можем как либо развивать хотя бы одну из наших способностей, не причиняя вреда или страдания всему тому, что нас окружает? Пришлось бы отчаяться в человечестве, если бы мы, обманываемые глупыми предрассудками, принуждены были заключить, что в мире нет аристократии избранных, имеющей право жертвовать судьбой мелких людишек, ради собственного своего благополучия, делать их рабами или орудиями. На что похожи эти избранные? «Они похожи, — говорит

Ницше, — на те вьющиеся растения острова Явы, которые, стремясь к солнцу, обхватывают в свои объятия дуб и, поддерживаемые им, но в то же время возвышаясь над ним, купают свои верхушки в блестящих лучах солнца». Если это зрелище прекрасно, то дубу нечего жаловаться, — он выполняет лишь свои функции. К несчастью, Руссо и французская революция исказили все наши идеи, погрузили Европу в неслыханный хаос и испортили нашу будущность. Теперь все пошло шиворот-навыворот; теперь стадо и рабы повелевают, а господа должны слушаться. Истинная мораль учила, что вся деятельность общества должна быть направлена на облагораживание человеческого рода с помощью великих индивидуальностей, чтобы таким образом приготовить возникновение новой расы, которая должна также превосходить человека, известного нам теперь, как нынешний человек превосходит обезьяну. Напротив того, стадная мораль, мораль прирожденных рабов учит, что общество имеет одну лишь цель — возможно большее количество благополучия бессильным, искалеченным, дуракам. Это человеческое стадо требует, чтобы его защитили от хищных зверей; оно провозгласило равенство прав; оно не понимает, что избранные имеют свои особые привилегии, что существуют различные степени между людьми, что нравственность, пригодная для слабых, совсем не пригодна для сильных. Все, что сильно и здорово в человеческой природе, приводит в ужас это стадо. Оно не хочет более страдать, оно требует, чтобы страдание было упразднено. Оно не только не боготворит силу, оно боится ее; оно не только не хочет подчиняться сильной воле, оно смотрит на нее, как на своего злейшего врага, оно требует, чтобы сильные подчинялись общественному благу, т. е., в действительности, благу слабых.

«Если окинуть общим взглядом, — говорит г. Преображенский, — изображаемую Ницше картину господствующего нравственного состояния: страх перед опасностями и страданиями жизни — и идеал спокойного и уверенного существования; боязнь перед высоким напряжением страстей, независимостью воли и мысли, оригинальной и резко выраженной индивидуальностью — и стремление сплотиться в одну обезличенную, однородную массу и сделать личность ее служебным органом; наконец — вытекающие отсюда идеалы равенства, культ “общественности”, симпатических влечений, мягких характеров, и утилитарных добродетелей, — то понятно будет, почему Ницше называет современную европейскую мораль — моралью стадных животных. Эта мораль и этот культурный процесс,

выражением и результатом которого она явилась, сделали свое дело, добились своей цели. Проникши во все области быта и культурной жизни, определяя сознание человека во всех сторонах его деятельности, эта мораль действительно укротила и смягчила человека, сделав из него домашнее, прирученное животное. Но она согнула и расслабила его волю, вытравила из него все сильные и властные инстинкты, связала и усмирила все бьющиеся в человеке страсти; она истребила в нем все пышное и роскошное и сделала его проще и дешевле. Она сделала внутреннюю жизнь человека и общества безопаснее, спокойнее, но она сделала ее простою и бесцветною; она сделала более доступными для всех маленькие наслаждения жизни, но она зато истребила в корне возможность и способность к великой радости, истребивши силу и добрую волю к риску и страданиям жизни, своей и чужой. Она сделала и делает все возможное, чтоб сгладить неравенство между людьми, смягчить естественное преобладание одного над другим и устроить вытекающую отсюда опасность обладания и власти человека над человеком; но зато она нивелировала людей, сделала посредственность — типом и идеалом человека. Равенство прав слишком легко превращается в равенство несправедливости, т. е. в общую борьбу против всего редкого, чуждого, привилегированного, против более высокого человека, высокой души, высокой ответственности, против творческой полноты мощи и царственного стремления к владычеству. В выгоде остаются более похожие друг на друга, более обыкновенные люди; более же изысканные натуры, более тонкие и редкие, труднее понятые — легко остаются одинокими, и при их отрозненности легче погибают в случайностях жизни и редко оставляют после себя потомство. Нужно вызвать чудовищные силы, чтоб остановить этот естественный, слишком естественный процесс уподобления (*progressus in simile*), это преобразование человека во что-то одинаковое, обыкновенное, не возвышающееся над средним уровнем, стадо-образное, пошлое. Где найдем мы теперь что-нибудь совершенное, действительно законченное, счастливое, мощное, торжествующее, — человека, который был бы оправданием человека? Где найдем мы искупляющий счастливый случай человека, ради которого можно было бы сохранить веру в человека? Человеческая раса ухудшается. В этом измельчании и уравнивании человечества заключается величайшая наша опасность, ибо вид такого человечества утомляет. Мы не видим никого, кто стремился бы стать выше и величественнее; мы чувствуем, что все идет к низу и к низу — к чему-то все более

тощему, более добродушному, благоразумному, покойному и довольному, посредственному, равно душному, китайскому. Человек, без сомнения, делается “лучше”, но именно в этом-то и состоит то величайшее несчастье, тот рок, который тяготет над человечеством. Со страхом перед человеком мы потеряли и любовь к нему, и благоговение перед ним, и надежду на него, — даже волю к нему. Вид человека утомляет теперь; в чем же ныне и состоит нигилизм, как не в этом? Мы устали от человека... Нет скорби, говорит Ницше, которая была бы так чувствительна, как увидеть хоть раз, угадать и почувствовать, как необыкновенный человек сходит с своего пути и вырождается. Но у кого взор достаточно чуток, чтоб увидеть ту общую опасность вырождения человека вообще, кто познает ту чудовищную случайность, которая до сих пор играла будущностью человека, кто угадает ту роковую опасность, которая кроется в глупом простосердечии и безобидности “идей современной цивилизации” (*moderne Ideen*), — да и вообще во всей европейской морали, — тот будет страдать одной заботой и опасением, с которыми нельзя сравнить никаких других. Он одним взглядом обоймет, что только можно было бы вырастить из человека при благоприятном сосредоточении и напряжении сил и задач, он знает всем знанием своей совести, как неисчерпаем еще человек для величайших возможностей, как часто стоял тип человека у таинственных решений и новых дорог; он знает из самого скорбного своего воспоминания, о какие жалкие вещи разбивалось, опускалось, делалось жалким самое великое и высокое грядущее. Общее вырождение человека, его измельчение до совершенно стадного животного, его превращение в животное-карлика, с одинаковыми правами и притязаниями, — все это, конечно, возможно... Но кто хоть раз продумает до конца эту возможность, тот испытает одним отвращением больше, чем прочие люди, — и быть может, увидит здесь новую задачу»¹⁴.

Итак, Европа, по мнению Ницше, опасно больна; в ней нельзя уже найти даже следа чистой инстинктивной мудрости, которая называлась здоровым политическим смыслом. Европейские государственные люди в настоящее время — только льстецы, слуги толпы. Во всех благоустроенных странах, прибавляет Ницше, рабочие образуют особенный класс, отягченный некоторыми тяготами, с которыми они в конце концов мирятся. Подобно китайскому труженику, они смиренны, выносливы, довольны немногим. Но в наше время государственным людям пришла счастливая мысль сделать их солдатами, гражд-

данами, избирателями. Вследствие этого они превратились в важных персонажей, их требования неограниченны и тяжелые условия, которые еще тяготеют над ними, кажутся им невыносимой несправедливостью. Европа точно ошалела; она не знает, куда стремится. Она идет ощупью, в темноте; современные идеи сделали ее тупой. Вы стремитесь, — говорит он, — к благополучию слабых, — но, безумны, кумиры, которым вы поклоняетесь, никого никогда не делали счастливыми. Думаете ли вы, что счастливы эти слабые, эти искалеченные, которых вы освобождаете? Не может быть счастлив тот, кто возмущается против собственного инстинкта, а инстинкт этих слабых заключается в том, чтобы повиноваться, любить руку, которая их ведет, и даже благословлять руку, которая их бьет.

Ницше, который не боится собственных противоречий, питает отвращение, как мы уже сказали, к аскетизму, а между тем в его сочинениях можно найти замечательно красноречивые страницы о пользе страдания. Трудные усилия, говорит он, укрепляют сердца. Страдание оплодотворяет душу. Человек, пользующийся всеми удобствами, которого единственное занятие — пользоваться своим благополучием, становится в конце концов пошлым и презренным существом. Если бы он понял всю свою пошлость, то непременно пожелал бы умереть. Страдание — величайшая из дисциплин... «Благотворное напряжение души в несчастии, дрожь, которую чувствуешь с приближением великих несчастий, смелость, изворотливость, изобретательность, которую человек принужден обнаружить, чтобы перенести объяснить несчастия и воспользоваться ими», — разве все это зло? Это, напротив, лучшие, драгоценнейшие ваши блага. Сопротивляться нападкам судьбы и людей — вот что делает людей сильными и счастливыми. Нет другого счастья, кроме чувства собственной силы, а чтобы сделаться сильным, необходимо чувствовать потребность сделаться им. Этим только путем тиранические аристократии Рима и Венеции образовали сильные и здоровые народы; это были, если можно так выразиться, громадные теплицы, в которых человеческое растение достигло полного своего роста. Свобода, делающая человека счастливым, — не та свобода, которую имеешь, но та, которой не имеешь, та которой желаешь и которую стараешься завоевать. Эти народы, с которыми так сурово обращались, ощущали такое высокое блаженство, какого никогда не будет ощущать стадо, которому говорите: «Трава принадлежит тебе, ешь и тучней». Как бы ни была вкусна трава, эти бараны, к которым вы так нежны, в конце концов, с отвраще-

щением отвернутся от своих снисходительных пастухов, которых они не могут уважать. Они презирают свое позорное благополучие, они будут сожалеть о своих тиранах и снова пожелают, чтобы над ними тяготело иго мощного авторитета. «Наполеон¹⁵, — прибавляет Ницше, — был последним великим делом природы; рассказать его историю — значит рассказать историю величайшего счастья, которым наслаждался наш век в свои лучшие минуты». Так думает Ницше. Однако сомнительно, чтобы это человеческое стадо в одно прекрасное утро отказалось от своих жирных пастбищ и с презрением взглянуло на свою, хотя бы ограниченную, свободу. Да и сам Ницше не верит в такую возможность; он думает, что может случиться, если демократическое начало до конца выполнит свое зловерное начинание и вследствие этого Европа будет осуждена на окончательный упадок. Однако он думает, что возможно и другое; может случиться, что могущественная воля возвратит людей к их естественному состоянию. «Задача нашего освобождения, — говорит он, — может быть решена только при помощи образования новой касты, достойной царствовать над Европой; только этой ценой мы можем быть спасены». Как бы ни было трудно снова восстановить касты в современной Европе, испорченной современными идеями, герой Ницше, Заратустра, однако не отчаивается и не теряет надежды; он не вечно плачет над судьбой человечества, по временам он издает возгласы ликования, удивляющие его змею и его орла. «Будьте подобны мне, радостны и веселы, говорит он своим ученикам. Превращайте ваши зерна в муку, пейте вашу воду, будьте довольны вашей пищей, если она делает вас довольными. Тот, кто принадлежит мне, должен иметь крепкие кости, легкие ноги, должен также любить войны, как и празднества. Он не должен быть грустным, не должен быть мечтателем; он должен любить трудные предприятия, так же как и удовольствия, быть здоровым и сильным. То, что есть лучшего в мире, — хорошая пища, чистое небо, мощные мысли, прекрасные женщины, — принадлежит моим и мне, и когда нам отказывают в этих благих, мы сами их берем. Те, кто принадлежат мне, не суть люди сильных желаний, сильной злобы, сильной тоски. Это — другие люди, которых я ожидаю в этих горах, откуда я спущусь только тогда, когда они придут. Люди, которых я ожидаю, это люди силы, победы, здоровья, мощные телом и душой» («Also sprach Zarathustra», IV часть, Лейпциг, 1891).

Во всем этом нельзя не заметить у Ницше как бы скрытой потребности верить. Эта потребность веры не находит, однако,

твердого фундамента, на котором она могла бы утвердиться. Даже истина всякий раз, когда Ницше думает, что пишет ее, преобразуется для него в заблуждение. «В тот момент, — говорит он, — когда истина срывает с себя покрывало, она перестает быть истиной». Не мудрено поэтому, что он сам стремится к созданию идеала, который бы отвечал потребностям его натуры. «Этот идеал, это — «Uebersensch» — сверхчеловек. Очень трудно дать точное понятие об этом удивительном существе, созданном фантазией, которое, по мере того как Ницше развивает свою доктрину, становится все больше и больше мистическим видением. Этот сверхчеловек, человек будущего, должен, как кажется, в представлении Ницше, олицетворить собой квинтэссенцию того, что человеческая натура может или могла бы дать. Это человек, так сказать, самого высокого могущества. Ссылаясь на некоторые героические явления в истории человечества, — явления, которые, по его мнению, могут приближаться к этому идеальному типу, — Ницше предполагает в человеке такую возможность подбора, такую способность к совершенствованию, благодаря которым идеальный тип этого Uebersensch может в конце концов возникнуть. Никогда, по мнению Ницше, из человека не было извлечено всего того, что он может дать. Таким образом, его Uebersensch, сверхчеловек, будет существом гигантских размеров, «великолепным первобытным зверем», усовершенствованным, поставленным на величайшую вершину развития, благодаря всем научным приобретениям человеческого ума в будущем. Такова задача, о которой мы уже упомянули, приводя одно место из книги: «По ту сторону добра и зла». Задача эта может быть сформулирована, как возможно высокое могущество и великолепие человеческого типа и человеческой культуры. Цепи, которыми еще окружен человек, т. е. тяжелые и многозначительные заблуждения нравственных, религиозных и метафизических представлений, должны в конце концов спастись с него; человек, если можно так выразиться, должен преодолеть себя, восторжествовать над собой, выработать и развить в себе мощь, красоту, глубину и великолепие души и тела, и таким образом дать смысл и себе, и всему земному существованию. Такой человек и будет сверхчеловеком. «Сверх-человек есть смысл земли; пусть воля ваша скажет: да будет сверхчеловек смыслом земли» («Also sprach Zarathustra»). «Высшие люди имеют в тысячу раз более прав на существование, чем низшие; это право — преимущество колокола с полным звуком перед колоколом надтреснутым и расстроенным; в них одних залог будущего; они одни обязаны и

ответственны за будущность человека; что они могут, что они должны делать, того не могут и не должны делать люди низшие; а чтоб они могли свершать то, что они должны, — они не могут становиться слугами и орудиями людей низших». Поэтому «общество может существовать не ради общества, но лишь в качестве фундамента и подмосток, на которых мог бы подняться более изысканный род существ к своей высшей задаче и вообще к высшему существованию». Само собой разумеется, что такое общество может быть только аристократическим. «Всякое возвышение человеческого типа было до сих пор и всегда будет делом аристократического общества, т. е. такого общества, в самой основе которого лежит вера в различие ценности между человеком и человеком, и в существование целой иерархической лестницы таких отличий, и которое нуждается в рабстве в каком-либо смысле. Без пафоса расстояния, — как он вырастает из всосавшегося в плоть и кровь различия сословий, из постоянной привычки господствующей касты видеть перед собой своих подчиненных и свои орудия и смотреть на них сверху, из ее столь же постоянного упражнения в повиновении и повелевании, держании других ниже себя и далеко от себя, — никогда не мог бы вырасти и тот другой, более таинственный пафос, — стремление ко всему новому и новому расширению расстояния внутри самой души, постепенное образование более высоких, редких, далеко и широко раскинутых настроений и состояний, — коротко говоря, — “самопреодоление” человека, — т. е. именно возвышение человеческого типа. Перед этой творческой задачей, — задачей развития высшей мощи и великолепия человеческого типа, его облагорожения, возвышения его силы и красоты, телесной и духовной, бледнеют проблемы счастья и покоя жизни, своей и чужой; этому идеалу стоит принести в жертву себя и другого, и стремление к нему обосновывает и освящает право человека на другого человека (?)».

Во всяком случае, Ницше является странным моралистом, — моралистом, отрицающим основы всякой морали и видящим ценность человека только в развитии его силы, в разнузданности или в безусловной свободе инстинктов. Не трудно заметить, что такой взгляд, несмотря на все красноречие Ницше, очень слабо обоснован или, вернее, обоснован на явной логической ошибке, — разоблачать которую здесь было бы совершенно излишне. Более интересен вопрос: откуда вытекает, откуда берет начало этот этический нигилизм Ницше? Какими свойствами его природы можно объяснить его философское отрицание? Думаю, что я не сделаю большой ошибки, если пред-

положу, что основное свойство натуры Ницше, как она обнаруживается в его произведениях, можно было бы назвать эстетичностью, при отсутствии всякого другого элемента, и в особенности при полном отсутствии элемента этического. И, действительно, каждый из нас встречал и встречает сплошь и рядом людей, которые страстно увлекаются всем, что прекрасно, — прекрасными формами, прекрасными чувствами, прекрасными характерами, — и в то же время остаются совершенно равнодушны к добру, к истине, если только добро и истина не имеют ореола прекрасного. Такие люди могут восторгаться великим поступком не потому, что этот поступок велик по своим нравственным результатам, а потому, что он прекрасен; они могут быть великодушны, героичны, добродетельны, но всем этим они будут не вследствие требований нравственного принципа, не вследствие сознания долга, а потому лишь, что великодушие, героизм, добродетель соблазняют их воображение. Однако такие поступки могут действовать на воображение людей, обладающих таким свойством, только тогда, когда эти поступки прекрасны, а прекрасны они будут тогда, когда они развиваются, живут, действуют на полной свободе, ничем не стесняемые, обнаружившие силу и мощь своей сущности. Таким образом, эстетическое чувство есть как бы созерцание всякой силы, развивающейся на свободе, без всяких стеснений и ограничений. Поэтому созерцание всякой свободно и безгранично развертывающейся силы вызывает в душе человека эстетический восторг. Этот восторг является преобладающим или даже исключительным у натур, которые наделены в высокой степени эстетичностью, в ущерб другим психическим элементам. Такова, я думаю, и натура Ницше. Его эстетичность, при полном отсутствии этического инстинкта, привела к его философским и этическим воззрениям. Он отрицал гуманитарное движение, он увлекался силой, как силой, которая становится, если можно так выразиться, гипертрофией свободной, неограниченной индивидуальности, — именно потому, что созерцание такой силы, есть созерцание красоты и становится эквивалентом эстетического чувства.

С другой стороны, многими сторонами своего учения Ницше напоминает Гоббса¹⁶, тоже пришедшего, и подобным же путем, к теории силы, проявление которой он рассматривал по преимуществу в государстве. Стоит только вспомнить трактат Гоббса «О человеческой природе и о теле политическом», а также его знаменитый «Левиафан», чтоб заметить, в какой степени натуры Ницше и Гоббса родственны и однородны. И, в самом

деле, Гоббс, подобно Ницше, сводит всю мораль на эгоистическое наслаждение, и к тому же он имеет в виду не высшее наслаждение, а просто чувство довольства. Что значит для Гоббса слово почитать? Это значит — понять превосходство мощи лица, которое почитаешь. Некоторые люди, напротив того, возбуждают в нас чувство смешного. По мнению Гоббса, это чувство заключается в том, что мы сознаем свое превосходство над человеком, который возбуждает в нас смех. Любить для Гоббса означает: сознавать, что человек, которого мы любим, может быть нам полезен. Точно так же чувство сострадания к другому есть не более как сознание, что и с нами может случиться несчастье, подобное тому, которое мы видим в другом. Под всей этой теорией Ницше мог бы подписаться обеими руками.

